

ИРМА КУДРОВА

Ирма Кудрова
Марина
Цветаева:
беззаконная
комета *Биография*



Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8
К88

Художественное оформление *Андрей Рыбаков*

Автор и издательство благодарят за предоставленные фотоматериалы
Дом-музей Марины Цветаевой

В книге также использованы фото из личного архива автора,
и фото М.С. и И.М. Напсельбаум (Агентство ФТМ, Лтд)

Кудрова, Ирма Викторовна.
К88 Марина Цветаева: беззаконная комета / Ирма Кудрова. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. — 864 с. — (Литературные биографии).

ISBN 978-5-17-099361-1

Ирма Кудрова — известный специалист по творчеству Марины Цветаевой, автор многих работ, в которых по крупницам восстанавливается биография поэта.

Новая редакция книги-биографии поэта, именем которой зачарованы читатели во всем мире. Ее стихи и поэмы, автобиографическая проза, да и сама жизнь и судьба, отмечены высоким трагизмом.

И. Кудрова рассматривает «случай» Цветаевой, используя множество сведений и неизвестных доселе фактов биографии, почерпнутых из разных архивов и личных встреч с современниками Марины Цветаевой; психологически и исторически точно рисует ее портрет — великого поэта, прошедшего свой «путь комет».

Текст сопровождается большим количеством фотографий и уникальных документов.

УДК 821.161.1-09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

ISBN 978-5-17-099361-1

© Кудрова И.В.
©ООО «Издательство АСТ», 2016

Часть I

Молодая Цветаева

Поэт — издалека заводит речь.
Поэта — далеко заводит речь.
Планетами, приметами, окольных
Притч рытвинами... Между *да* и *нет*
Он, даже размахнувшись с колокольни,
Крюк выморочит... Ибо путь комет —
Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности — вот связь его! Кверх лбом —
Отчаяться! Поэтовы затменья
Не предугаданы календарем.
Он тот, кто смешивает карты,
Обманывает вес и счет,
Он тот, кто *спрашивает* с парты,
Кто Канта наголову бьет,
Кто в каменном гробу Бастилий
Как дерево в своей красе.
Тот, чьи следы — всегда простыли,
Тот поезд, на который все
Опаздывают...
— ибо путь комет
Поэтов путь: жжя, а не согревая,
Рвя, а не возвращая — взрыв и взлом —
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!

8 апреля 1923



Глава 1

Мать

«**Т**ы дал мне детство лучше сказки...»
Так написала Марина Цветаева в день своего семнадцатилетия в стихотворении «Молитва». Почти что сказкой предстают ее детские годы и в воспоминаниях Анастасии Цветаевой, младшей сестры. Но в живой жизни сказок нет: горечь всегда так недалеко от радостей, что едва изумишься удаче, а уже на пороге беда. И если потом оглянешься — что вспомнится раньше? Чего там было больше — боли или радостей? А это уж как посмотреть.

Есть такие рисунки-тесты: на листе только белое и черное, и каждое — сплошным пятном. Бросишь первый взгляд: белый профиль прекрасной дамы. А взглядишься, сощурив глаза, — да и вовсе не дама! — черным пятном отчетливо проступают очертания разрушенного замка...

1

Две сестрички растут-подрастают в Трехпрудном переулке старой Москвы — в одноэтажном, с мезонином, деревянном доме, окрашенном коричневой краской; обитатели дома называют его «шоколадным».

Тополь растет перед входом в зеленый двор. В углу двора виден колодец, возле него суетятся утки; дворник возится с голубями. А вон там горничная с экономкой — они вытащили из дома старые кованые сундуки, перетряхивают барские наряды, укладывают зимние вещи.

Из окон дома слышны звуки рояля; нудные гаммы разыгрываются явно детскими руками. Потом наступает недолгая тишина, внезапно прорываемая бурей шопеновского этюда. Ну, это уж за роялем не дети — такая энергия звука, такая страсть в каждом аккорде!

Вскоре хлопает полосатая парадная дверь, и две девочки в легких пальтишках и матросских беретах выходят на прогулку, сопровождаемые бонной. Их маршрут привычен: по тихому переулку они направляются к Никитским воротам, потом поворачивают налево по Тверскому бульвару. Туда, где вдали черной застывшей фигурой виднеется памятник с вечно наклоненной головой. Иногда они поворачивают к Патриаршим прудам. Изредка их обгоняет пролетка, за чьим-то забором громко раскудахтались куры, запах борща и жареных пирожков вдруг пахнёт из открывшейся двери трактира. Шарманщик на перекрестке крутит свою шарманку.

Но вот все звуки заглушает колокольный звон. Звонят сразу во всех церквях, справа и слева, они тут на каждом шагу.



*Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке, 8.
Макет В. Кудрявцева*

Полдень в Москве. Весна. 1902 год. Скоро Пасха. А значит, недалеко и до лета. Девочкам осталось немножко потерпеть — и в Тарусу! В рай ее просторов, зеленых холмов и спусков, серебрищейся под солнцем Оки, ночных побегов через окно, когда все заснут на даче; в рай костров, разожженных на поляне, и страшных историй, рассказываемых при отблесках огня в плотно обступившем мраке. А ла-

занье по деревьям! Нарядные праздники у Добротворских... А сочные красные ягоды в лукошках, которые приносят загадочные молодухи-хлыстовки!

Да, впереди лето. Только никто в «шоколадном доме» еще не знает, что едва оно окончится — и жизнь семьи сделает крутой поворот. Врачи обнаружат у жены профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева чахотку и предпишут ей немедленную перемену климата. И тогда прощайте, Москва и Подмоскowie! Уже на рождественских каникулах вместо саней и снежных баталий в Тарусе девочки увидят Италию...

Пока же старшей из девочек — домашние ее зовут то Мусей, то Марусей — еще нет десяти лет. Румяная большелобая толстушка не слишком улыбочива, и прислуга побаивается ее гневных вспышек. Может и башмаком запустить, и ногой оттолкнуть, не раздумывая. Семилетняя Ася обожает старшую сестру и старается подражать ей во всем.

Как всегда на прогулке, младшая болтает без умолку. Но старшая сегодня молчалива. В очередной раз ей досталось от матери — и обида острой болью захлестывает самолюбивое сердечко. Боль тем сильнее, что строгую, вспыльчивую и не слишком-то ласковую мать обе девочки боготворят. Боль и обида вспыхивают не впервые, но привыкнуть к ним Муся не может. Не сможет и забыть.

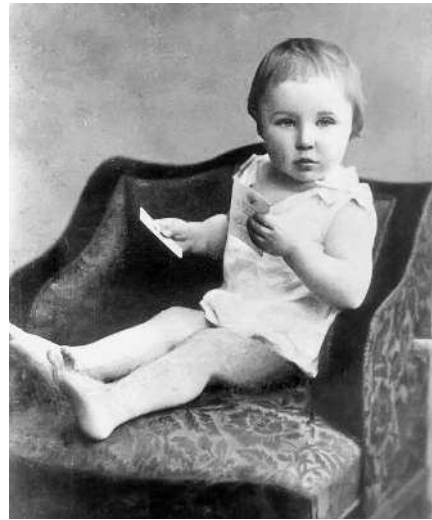
Об этих своих детских горестях спустя три десятка лет она расскажет в автобиографической прозе.

«Круглый стол. Семейный круг. На синем сервизном блюде воскресные пирожки от Бартельса. По одному на каждого.

— Дети! Берите же!

Хочу безе и беру эклер. Смущенная яснозрящим взглядом матери, опускаю глаза и совсем проваливаю их, при:

Ты лети, мой конь ретивый
Через моря и через луга,
И потряхивая гривой,
Отнеси меня туда!



Марина. Около 1894 г.

— Куда — туда? — Смеются: мать (торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата, студент-уралец (го-го-го!), смеется на два года старший брат (вслед за репетитором) и на два года младшая сестра (вслед за матерью); не смеется только старшая сестра, семнадцатилетняя институтка Валерия — в пику махехе (моей матери). А я — я, красная, как пион, оглушенная и ослепленная ударившей и забившейся в висках кровью, сквозь закипающие, еще не проливающиеся слезы — сначала молчу, потом — ору:

— Туда — далёко! Туда — туда! И очень стыдно воровать мою тетрадку и потом смеяться!»

В сказках у доброго отца часто злая жена, откуда и проистекают все беды детей. Нет, тут было не так. Отец в этой семье был замечательный — мягкий, добродушный умница и неутомимый труженик, и мать — разносторонне талантливая поклонница благородных королей и героев. И вот ведь — смеются! О, какая ранимая сила у такого смеха! Как глубоко в сердце зеленоглазой Муси входит это лезвие пренебрежения. Куда гуманнее было бы выпороть дитя ремнем, по старинке. Но ведь не за что. И старшие это, конечно, понимают. Понимают — но весело смеются над самой сокровенной тайной застенчивой девочки. Милым, добрым, умным взрослым не приходит в голову, как непереносима ее боль: все чувства у этого ребенка с рождения предельно, почти болезненно обострены. Это беда, с которой всегда трудно жить, но в ней же — и почва, и зерно, из которого прорастут в будущем ни с чем не сравнимые плоды.

Редкий родитель угадывает судьбу своих детей. Ни отцу, ни матери просто не приходит в голову, что вот этой неуклюжей румяной Мусе судьба уготовила будущее блистательного поэта... Впрочем, не совсем так.

Девочке было всего четыре года, когда Мария Александровна записывает в своем дневнике 5 марта 1903 года: «Маруся растет и развивается не по дням, а по часам. Она повторяет почти все слова, которые слышит, и у нее такая потребность говорить, что она по целым дням болтает всякий вздор, из которого ничего понять нельзя; но говорит она с такой серьезной миной, с таким сосредоточенным взглядом, и то в форме вопроса (причем обижается, когда ей не отвечают), то в форме возражения, а иногда делает серьезные замечания на своем специальном жаргоне...»

Это будущий поэт в полтора года. Позже — Марине уже четыре года — Мария Александровна делает другую дневниковую запись: «Старшая все ходит вокруг и бубнит рифмы. Может быть, моя Маруся будет поэтом?»

Записала и забыла. И бумагу дочери давала только нотную, так что строчки и рифмы Муся царапает каракулями на случайно найденных



Мария
Александровна
Цветаева

бумажных клочках. А все дело в том, что сама Мария Александровна одержима музыкой. Незаурядная музыкантша, она мечтает вырастить из старшей дочери пианистку — и посадит ее за рояль «злотворно рано» — девочке еще не исполнилось тогда и пяти лет.

Оттуда и этот эпизод за завтраком: отучить от глупостей!

У Муси обнаружили незаурядные музыкальные способности — в отличие от ее младшей сестры Аси. Полный сильный удар и, как считают, «удивительно одушевленное туше». Мария Александровна этому радуется, но хвалить не спешит. В пять лет девочка почти берет октаву. «Надо только “чу-уточку дотянуться!» — говорит она дочери, — голосом вытягивая недостающее расстояние, и, чтобы я не возомнила: — Впрочем, у нее и ноги такие!»

И к этому Муся уже привыкла: после каждой вырвавшейся похвалы мать холодно прибавляет: «Впрочем, ты тут ни при чем. Слух — от Бога!» Она попрекает дочь и «Слепым музыкантом» Короленко, и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, которую было не оттащить от рояля.

Дважды в день Муся взбирается на мученический табурет перед роялем. Ее все жалеют, кроме матери: жалеет отец, гувернантка, нянька, даже дворник Антон, приносящий в залу дрова, чтобы топить кафельную печку. Девочка играет старательно — для матери. Для ее радости и из страха. И ведь не только зимой! И летом, когда жара, когда все на воле и идут купаться, или гулять «на пеньки», или в Тарусу на почту...

Метроном с его вылезавшим стальным пальцем внушал ей страх своим неостановимым механическим щелканьем. Девочка его ненавидит и боится до сердцебиения. Он представляется ей гробом, в котором живет смерть.

Фантазии ее неисчислимы.

Рубчатая ножка табурета, на котором она сидит за роялем и на котором можно до одурения закрутиться, — точь-в-точь ошипанная индюшачья шея. Раскрытая клавиатура рояля вдруг предстает ей огромным ртом до ушей — с огромными зубами. Этот рояль — просто зубоскал, думает маленькая Марина, он-то и есть настоящий зубоскал, а вовсе



Иван
Владимирович
Цветаев

не репетитор брата Андрея, хотя мать зовет его так за вечное хохотанье. По клавишам, не сдвигаясь с места, можно раскатиться, как по лестнице; белые при нажмие — всегда веселые, а черные — сразу грустные. В левой части клавиатуры живет гром, в правой — мелкие букашки. Ноты долго мешали Мусе свободно играть, но стали друзьями, как только однажды она вообразила их воробышками на ветках — каждый на своей, — и оттуда они спрыгивают на клавиши, каждый на свою. А когда Муся перестает играть, ноты возвращаются на ветки и там спят, как птицы, и тоже, как птицы, во сне никогда не падают.

Слово «бемоль» кажется ей лиловым, прохладным и немножко гранным, а знак «бекар» пуст, как пустой дурак; скрипичный ключ она выводит на бумаге с чувством, будто сажает лебедя на телеграфные провода, а басовый — похожий на ухо с двумя проколотыми дырками — презирует...



Марина за роялем

Многие годы она не сможет справиться с отворачиванием к собственной игре. Это не было отворачиванием к музыке, потому что под пальцами ее слишком долго рождалось что-то, что она музыкой назвать не могла. Музыка — это когда мать садилась за рояль. Слушать ее всегда было радостью. Но играть самой... В тысячу раз инте-

реснее просто смотреться в черную крышку рояля; удостоверившись, что никто не видит, Муся дышит на нее, как на оконное стекло, и отпечатывает на матовой поверхности крышки свой нос и рот...

У нее множество запретных наслаждений. Так оно и бывает, когда слишком многое запрещено, а этот дом полон запретами. Украдкой она заучивает тексты романсов, которые любит петь старшая сводная сестра Валерия. Тоненькие тетрадки романсов (тексты в них всегда нежно-любовные) лежат совсем рядом с роялем, на нотной этажерке. Выученные строчки потом, забывшись, она иногда бубнит при матери.

— Что это ты опять говоришь? — грозно спрашивала Мария Александровна. — Повтори-ка, повтори! Что это за глупости — «в сердце

радость и гроза»? Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лёриных нот!

Но чтение не нот, а именно текстов, особенно поэтических, — настоящая страсть маленькой Мусы, в четыре года уже справившейся с буквами. «Муся перебила брата в искусстве чтения и любознательности, — сообщает довольный отец своему другу И. В. Помяловскому. — Сама, без учителя, она, словно колокольчик, прозванивает вслух свои книжечки, читая их безграмотной няне Настасьи Ивановны. Последняя (речь идет о маленькой Асе. — И. К.) наук не признает никаких и любит стишки только, сочиненные Абрикосовым для оберток шоколада». Разрешенные книжки Мусе скучны, зато есть другие, они манят одним тем, что детям их — нельзя. И это запретное опять связано с сестрой Лёрой: в ее комнате, обитой красным штофом, стоит заветный шкаф. Запретный шкаф. И в нем большой сине-лиловый том с золотой надписью вкось — «Собрание сочинений А. С. Пушкина». Этого толстого Пушкина Муся читает, уткнувшись носом в книгу, почти в темноте, пугливо прислушиваясь — не идет ли кто-нибудь. Читает сначала «Цыган», потом, позже, уже все подряд, включая «Онегина» и «Капитанскую дочку».

В ее взрослой памяти прочно угнездится уверенность в том, что главное, чем и заразил ее Пушкин, — была любовь. «Цыгане» про любовь, «Онегин», «Капитанская дочка» и стихотворение «Прощай, свободная стихия!» — всё о ней и про нее, как и в романсах Лёры. Любовь — было слово, ее заворожившее. «Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это — любовь. Я думала — у всех так, всегда — так».

Так возникают страшные тайны маленькой Марины — тайны красной комнаты, синего тома, грудной ямки.

«Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь.

— Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюренбергская или крестнина парижская?

— Парижская.

— Почему?

— Потому что у нее глаза страстные.